

«завербованной» литературы. Но эта «завербованность» должна сопровождаться неустанной заботой о непреходящих качествах произведений, о мастерстве писателя на уровне той эпохи, которой он служит».

Хуан Маринельо верит, что критическая мысль «станет завтра составной частью невиданного взлета национального самовыражения», — для него расцвет критики не отделим от общих выдающихся успехов революционных сил на американском континенте и является лишь вопросом времени.

С. МАМОНТОВ

## ШАГ ЗА «НИЧТО»

Два нью-йоркских журнала напечатали материалы, удивительно похожие по своей проблематике и даже по направлению, хотя вообще эти журналы — «Диссент» и «Харперз мэгэзин» — отнюдь не принадлежат к одному лагерю. Первый ориентируется на «левизну» и радикализм, второй откровенно консервативен.

В центре обоих выступлений — русское слово «нигилизм» и проблемы, связанные с ним сегодня.

Большое эссе Дж. Эллиота в «Харперз» называется «Never Nothing»; тут явный контртезис «Ворону» Э. По, его «Nevermore» («никогда больше» — «никогда ничто»).

Дж. Эллиот начинает издавека; его волнует философско-религиозная ипостась проблемы. Он говорит об особенностях христианского мировоззрения, по его мнению, породивших ситуацию нигилизма, духовного вакуума в позднем европейском обществе, он сравнивает христианство и дзен-буддизм и приходит к выводу, что нигилизм не может быть вечным состоянием, что это скоропреходящий этап человеческого самосознания: «распад связей» не может быть вечным.

Выявляя первое четкое выступление нигилизма, автор, конечно, вспоминает Руссо, и Вольтера, и всю вообще атмосферу XVIII столетия в Европе:

«Нигилизм, как я понимаю дело, есть этический импульс: он вскармливает, выражает, оправдывает гнев тех, кого рационализм лишил веры в христианство. Это темная сторона Просвещения. Когда наука приземлила абсолют, кое-кто не мог отделаться от ощущения, что его предали: божественность была смыслом вещей, Христос был любовью и надеждой, жизненный рубеж и возмездие определялись богом, было что-то, куда можно было умирать. Юм потряс людей, а Вольтер насмеялся над ними в их потрясенности».

Лайонел Абель, автор статьи «Два нигилизма» в «Диссенте», не затрудняет себя философскими выкладками, он берет быка за рога:

«Мы живем во времена нигилизма, культурного нигилизма... Есть ощущение, что ты прав, только атакуя, что бы ни атаковал, и не прав, только защищая, что бы ни защищал».

«Всякого вида сепаратизм проявляется сильнее: французы против англичан в Канаде, черные против белых и белые против черных в нашей стране и по всему миру, женщина против мужчины, мужчина против женщины, дети против родителей, студенты против преподавателей, и даже... город Нью-Йорк против штата. Прилагательные «красный», «коричневый», «черный», «желтый», и «белый» неожиданно стали более важными, чем первичное «человек»... В двадцатые годы романисты интересовались техникой того, что называлось «чистым» романом, и поэты интересовались поэзией, по возможности свободной от всех прозаических элементов, и среди драматургов шли толки о «чистом» театре, и в новом искусстве — о «чистых» фильмах. В наше время, в нашем возрасте — а я имею в виду период, начавшийся со взрывов над Хиросимой и Нагасаки, — не «чистый» роман возымел место, а отрицание романа, разрушение романа. И эти отрицание и разрушение были названы антироманом. В поэзии было провозглашено антистихотворение; в театре сначала была поставлена «абсурдная» пьеса, а потом, так как та еще недостаточно разрушала драматическую форму, — антипьеса... Вы непременно заметите, что я соединяю два явления: сепаратизм, яростный сепаратизм в политике, и свирепую атаку на все формы художественного творчества. В обоих случаях есть утверждение частного, чье право на жизнь как раз и требует оправдания, против единственной вещи, которая могла бы оправдать его, против целого».

Итак, Л. Абель прямо и даже несколько прямолинейно связывает социальные и культурные факторы, в частности сепаратизм, центробежность в жизни, в политике и нигилизм в отношении к культуре.

Словом, он куда более остер и публицистичен, чем Дж. Эллиот.

Однако и Л. Абель вспоминает Руссо и Вольтера; при этом, как человек, более четко идущий к цели, он «ищет» свою идею уже и в первоисточках явления. Он — в общем, справедливо — считает, что Руссо и Вольтер — явления разного порядка, что Вольтер более нигилистичен, он более Мефистофель, дух отрицания в собственном смысле, чем несколько сентиментальный, проникнутый идеями единства с природой и благодати естественной жизни, деятельный Руссо; нигилизм Руссо — по сути не только нигилизм, он отрицает окружающую жизнь, но не отрицает жизни вообще.

Но что же такое нигилизм? Что значит сие понятие, вновь выплывшее из тени архивов на свет боевой публицистики?

Для выяснения современного наполнения этого слова, мелькающего ныне на страницах разных изданий в разных концах мира, оба автора, вновь как бы стоворившись, обращаются к русской литературе XIX века. И это опять-таки показательно; наша классическая литература, и прежде всего Достоевский, в последнее время вызывает в мире особое внимание многих и многих. Несомненно, что это связано, в частности, с ростом молодежного движения, принимающего часто форму «нигилистического» движения.

Дж. Эллиот обращается к авторитетам Тургенева, Достоевского. Из Тургенева он выписывает самое определение нигилизма, совершенно верно решив, что для расшифровки понятия нужно сначала дойти до его исконного, первого смысла.

«Нигилист, — говорит Аркадий в «Отцах и детях» (и ему хорошо бы знать, что само это слово вошло в обиход главным образом как тургеневское название для него и его наставника Базарова), — нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип».

На примере печально знаменитого героя Достоевского Дж. Эллиот говорит об опасной логике последовательного и фанатичного нигилизма:

«Нигилисты — секта миссионеров. Веря в ничто, сомневаясь во всем, кроме собственного мнения, они также хотят, чтобы и вы верили в ничто, во всяком случае, во всем сомневались. Воистину лишь немногие не ищут учеников; это солипсизмы вроде Кириллова в «Бесах» Достоевского. Веря, что единственная реальность — это то, что он знает, он оказался способным заставить мир перестать существовать через прекращение своего знания о нем. Он застрелился. Но немногие идут так далеко по тропе солипсизма — этого еще одного приближения к абсолютному нулю. Большинство нигилистов и все нигилистические писатели, увязнув в челюстях противоречий, верят в пустоту и распад связей, но при этом нуждаются в общении...»

Л. Абель берет явление не в косвенном, а в прямом его выражении; ему не до «художественных отражений». Перед ним — характер Дмитрия Писарева как образца нигилизма. И опять: он даже и в этом характере, внутри его, видит некую двойственность. Приведя известные слова Писарева о том, что все, что может быть разрушено, должно быть разрушено, и только то, что выдержит эти удары, останется жить, — Л. Абель останавливает нас:

«Я должен заметить здесь, что этот оптимистический нигилист дважды покушался на самоубийство...» (После четырех лет одиночного заключения. — В. Г.).

Но, конечно, главное, что волнует обоих авторов, — это не происхождение и ранний смысл явления, а его нынешнее значение, состояние. И тут оба автора расходятся терминологически — но удивительно сходятся по существу:

«В давние дни, когда Запад был еще только в процессе упадка, чувства, подобные чувствам Стивена (героя Джойса. — В. Г.) и Аркадия, выглядели достаточно устрашающими, устанавливали что-то вроде последнего рубежа, предела. Но для нас... эти романтические нигилисты кажутся высокоумными денди: как сатаниты на черной мессе, они вызывают к себе отношение, которое не совершенно свободно от жалости...»

«Романтические нигилисты, не обладая героическим размахом Джойса, были в общем и целом не стойки в своих желаниях; часто они сворачивали на примитивность простой ненависти. Беда для них была в том, что они не могли не ненавидеть многие вещи, достойные ненависти, — несправедливость, лицемерие, злоупотребление силой, фальшивые идеалы. На какой же они были стороне? На обеих; в этом была дилемма. Они желали исцелять общественные раны, но, увидев размеры этих ран, отчаивались осуществить свое желание. Чтобы избежать дилеммы, они искали конец несправедливостей не в учреждении лучшего порядка, а в разрушении его любыми способами; от политического убийства до интеллектуального обличения. И все-таки для нас, кто видел в лице Германии великую нацию, пародийно управляемую сектой принципиаль-

ных нигилистов, отрицающих добро и любящих все низкое, романтические нигилисты кажутся архаичными и почти родными по духу: как-никак они мечтают; как-никак если мы разрушаем достаточно добросовестно, то любовь, братство, добро уж как-то заявят о себе в истории. Сам я уже не слишком верю в этого феникса; но я испытываю известные родственные чувства к тем, кто верит» (Дж. Эллиот).

Л. Абель выступает перед воинственно настроенными студентами Колумбийского университета; он не разделяет разрушительного пыла своей аудитории, но в то же время сочувствует ей и поэтому немного хитрит:

«Один геолог различал молитвы утреннюю и вечернюю.... Нигилизм, который я назвал нигилизмом утра, нигилизмом активным, экстатическим, дерзким и разрушительным... — не для нас, не для нашего века, ибо мы знаем нынче нечто, чего не знал Писарев, а именно: что нет ничего на этой земле, что невозможно разрушить; мы знаем даже, что и сама земля может быть разрушена. Должны ли мы сказать в этом случае, что и земля не имеет права на жизнь? Нет, я думаю, мы должны сказать, что нигилизм утренний, каким бы привлекательным он ни казался, не имеет права на жизнь. Он как раз из тех вещей, которые несомненно должны быть разрушены».

Таким образом, Л. Абель сочувствует здоровым разрушительным ветрам, но опасается, как бы они не задули слишком уж резко; поэтому он и к Писареву относится с симпатией, но не без опаски, поэтому и в тех местах своей речи, где он говорит о нигилизме вечернем, старческом, лишенном жизненной силы — о нигилизме его собственного поколения, — он в глухом подтексте не может не упрекнуть молодежь за ее розовые иллюзии, ее утопизм, ее экстремизм.

Итак, главное для обоих — это то, что существует два нигилизма, нигилизм конструктивный и нигилизм опустошительный, нигилизм, оправдывающий свое название, нигилизм, стремящийся в ничто и к ничто.

Для доказательства этой-то идеи — и Руссо, и Вольтер, и русский «нигилизм» XIX века, и все остальное.

Правда, в интерпретации этой идеи есть любопытные разночтения. Так, Дж. Эллиот — как и во всем своем эссе — акцентирует духовную сторону дела, он считает, что чистый нигилизм опаснее всего в сфере духовных ценностей; он склонен к пафосу и в своем призыве к духовному возрождению человечества обращается к тени великого флорентийца:

«Данте держался за Вергилия, который должен был прижаться на некоторое время к Сатане, поскольку не было другого способа пройти мимо него... Затем... они ушли, покинув ту темную пещеру, которая всегда там пребывает и в которой им уже нечего было делать; в ушах больше не звенело от воя тех, кого проклял бог, — этих ложных детей в мертвом лоне; и они выбрались назад в мир света, где солнце и другие светила сияют незатененно, где братство возможно».

Л. Абель в целом более конкретен и социален. Говоря о «вечернем» нигилизме, он подразумевает не только индивидуумов, но и общество, и культуру. Он говорит о том, что еще в конце XIX века западное искусство приблизилось к «ничто». Он с горечью ведет речь о своем поколении, которое питало иллюзию, будто можно прожить этим чистым «ничто», одним лишь ощущением абсурда, распада, заката, и делает вывод, что так же как реальный человек не выдерживает этой ситуации и меняет ее или поворачивает газовый кран (вспомним опять и Кириллова!), так и новое поколение, и культура стоят перед выбором: «ничто» или...

«Возможно, вы создадите новый век с новыми альтернативами. Будет ли он хуже или лучше этого века? На эту тему вы будете говорить сами. Но в любом случае вы должны освободиться от иллюзии, которая связывала многих из моего поколения. Я утверждаю — и вы должны усвоить это теперь, при начале вашей деятельности, — что единственный вид нигилистического образа жизни, реальный для вас, является совершенно бездуховным: затхлый нигилизм, усталый нигилизм, плохой нигилизм; это не для молодых идеалистов — он годится лишь для старых циников».

Словом, нельзя разрушать без оглядки, но и нельзя жить нулем, чистым отрицанием, «абсурдом», как все те в обществе и культуре, от имени которых говорит Л. Абель.

Конечно, обе статьи — во многом плод испуга западного интеллигента перед нарастающими катаклизмами классового общества, разнообразного современного мира; призыв к умеренности, к «разрушению, но в меру» — не впервые слышен среди людей. Будь жив Писарев, он бы ответил Л. Абелю все, что следует. Ведь Писарев по сути не был нигилистом, он был революционером, рыцарем истины, рационалистом в строгом и светлом смысле слова, и поэтому всякие сравнения с ним в рас-

суждениях о нынешнем нигилизме выглядят явной натяжкой. Но справедлива тревога думающих людей на Западе об этом сегодняшнем нигилизме — о нигилизме, связанном с комплексом безысходного отчаяния или с полным отрицанием каких-либо ценностей.

И все-таки явление это более сложно, а совпадения у столь разных авторов не случайны; за страхом, за разговорами о христианстве и дзен-буддизме, за островами по адресу современных шатаний, разброда в людях и непоследовательности тех или иных социальных деятелей видно нечто искреннее и крепкое — жажда позитивной программы, как сказали бы мы, стремление выработать какие-то новые социальные и духовные ценности, чтобы не стоять после грохота разрушения с пустыми руками и душами.

Многие на Западе чувствуют, что эта работа так же важна, как и само разрушение.

ВЛ. ГУСЕВ

## «СВОБОДНЫЕ ПИСАТЕЛИ», «НАДОМНИКИ» ИЛИ...

Чрезвычайно характерный для современной западногерманской литературы рост интереса к социально-классовой проблематике проявляет себя не только в книгах, статьях или публицистических выступлениях. Ему сопутствует своеобразный сдвиг в самосознании многих писателей. Впервые за долгие годы начав по-настоящему вглядываться в жизнь рабочих и других представителей наемного труда, в их отношения с предпринимателями, в механизм манипулирования людьми и мнениями, они одновременно как бы по-новому увидели самих себя, свое собственное место и положение в индустриальном капиталистическом обществе.

Этот сдвиг писательского самосознания явственно продемонстрировал состоявшийся в конце прошлого года в Штутгарте первый съезд Союза писателей ФРГ, ход и итоги которого продолжает комментировать пресса как в Западной Германии, так и в ГДР.

Все пишущие о съезде отмечают не совсем обычный для такого рода собраний характер обсуждавшихся на нем проблем — проблем прежде всего организационно-экономического характера. В то же время наиболее серьезные комментаторы стремятся различить за спорами о материальном положении литераторов, пересмотре авторского права и т. п. более глубокую, политическую подоплеку. Впрочем, об этом прямо говорилось и на самом съезде.

«Лишь банкиры могут быть настолько наивны, — саркастически заметил в своём выступлении Генрих Бёль, — чтобы думать (или делать вид, что думают), будто деньги аполитичны. Писатели так думать не могут».

Обозреватель еженедельника «Зоннтаг» (ГДР) Петер Пахнике в статье, озаглавленной «Конец одного табу. Новое самосознание западногерманских писателей и Штутгартский съезд», пишет по этому поводу:

«Первый писательский съезд... был настолько мало похож на творческий вечер или на дискуссию об антиискусстве, что рецензент «Франкфуртер альгемайне цейтунг» заявил столь же уничижительно, сколь и возмущенно: «Там говорят об одних деньгах!» Но действительно ли для трех тысяч западногерманских писателей речь шла только о золотом тельце или целью такого рода газетных оценок было скорей затушевать политический характер проблем, которые обычно кроются за дискуссиями о деньгах?»

Весьма показательным в этом смысле автор статьи считает развернувшееся на съезде обсуждение вопроса о вхождении Союза писателей ФРГ в Объединение западногерманских профсоюзов. Рассматривались две возможности: коллективное вступление в профсоюз работников печатной и бумажной промышленности и создание собственного единого профсоюза работников культуры, в который, помимо писателей, вошли бы также художники, журналисты, кинематографисты и другие.

Прежде чем остановиться на особенностях обоих предложений и на разнице между ними — несколько слов о том, что значит вообще для западногерманских писателей, этих «общеизвестных индивидуалистов», как назвал их в своей речи на съезде Гюнтер Грасс, перспектива такого объединения.

Войти на известных правах в сложившуюся систему профсоюзов — значило бы для них прежде всего официально определить свое место среди прочих наемных